

“ФИЛОЛОГИЯ – ЭТО НЕ ПРО СЛОВА, ЭТО ПРО КОНТЕКСТЫ”



Константин Анатольевич Богданов – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Филолог, семиотик, фольклорист, историк культуры, переводчик. Автор книг и статей по истории культуры и науки, в том числе «Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности» (2001), «Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков» (2005), «О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов» (2006), «Из истории клякс. Филологические наблюдения» (2012), «Господские пятки, память о крепостничестве и теория мемов» (2014), «Банка Чумака, взгляд Кашпировского: О роли неподвижных предметов в социальном воображении» (2015). С 2001 по 2010 год – приглашенный сотрудник Констанцского университета (Германия). С 2013 по 2014 год – приглашенный профессор университета Хоккайдо (Япония). Сегодня живет и работает в Санкт-Петербурге.

«**С**емиотика словесной и визуальной культуры» – семинар, состоявшийся в Южном федеральном университете. Обсудить с нами роль филологического инструментария в современной культуре приехал петербургский филолог и интеллектуал Константин Богданов. О кризисе гуманитарного знания, призраках лингвокультурологии и реанимации культурных героев – с признанным экспертом для нашего журнала поговорила Екатерина Максимова.

Первый и главный вопрос. Как жить с тем, что филология, как и всякая гуманитарная дисциплина, постоянно вынуждена доказывать свою научную состоятельность? Сегодня особенно. «Есть естественники, а есть искусственники» – так, кажется, шутят представители естественных наук.

– Чехов писал Суворину: «Мне хочется есть, пить, читать, писать и думать при этом, что я порядочный человек». Всегда актуален вопрос, в какой мере общество допускает такую роскошь, как занятие филологией. Ну, знаете, *otium post negotium* и прочие контексты. Считается, что филологи и другие гуманитарии занимаются какими-то вопросами просто потому, что они им очень нравятся. Не совсем так. Наука всегда занята двумя вещами. Это изобретение и открытие. Чтобы что-то изобрести или что-то открыть, мы должны представить некоторый мысленный эксперимент. Этот эксперимент всегда требует перепроверки оснований, на которых он производится. Вот филология постоянно занята перепроверкой социального опыта. Как говорил Август Бёк, замечательный немец, почитаемый в XIX веке, «филология занята изучением уже познанного». Это не претензия. «Топтание на месте» в этом контексте имеет глубоко

позитивную функцию. Например, когда мы говорим, что положение «Надо изучать Толстого, Достоевского и Чехова» устарело, мы не имеем в виду, что их не надо изучать вовсе. Просто нужно подходить к старым объектам с какими-то новыми фильтрами. Не говорить в миллионный раз о духовно-нравственных исканиях героев, а просто задуматься, чем Чехов может быть сегодня интересен и может ли он быть интересен?

– Как Рейфилд¹ с его биографией-покушением на сусальный образ классика?

– Как вариант. Здесь главное, чтобы объектом исследования был не исключительно сам объект. Но также оптика, с помощью которой мы на него смотрим. Наши предки смотрели на Чехова с другим набором установок. Мы живем, время идет, все меняется. Филология – это все еще живая наука именно потому, что она позволяет нам возвращаться к тем вещам, которые почему-то волновали наших предшественников. Если мы не согласны мыслить себя оторванными от них. Мы ведь часто в литературе и в культуре встречаемся с вещами, о которых думаем: как они когда-то для кого-то могли быть актуальными и важными. В свое время я переводил большую астрономическую поэму о звездном небе и явлениях погоды

¹ Donald Rayfield. Anton Chekhov: A Life. 1997

древнегреческого поэта Арата, жившего в III веке до н.э. Знаете, это был бестселлер своего времени. Сегодня без скуки это читать невозможно. От филолога требуется усилие, чтобы понять, чем это могло быть интересно. Современный человек ориентируется на канонические тексты, христианин – на Евангелие, мусульманин – на Коран и так далее. А что делал человек в III веке до н.э., в обществе, где не было еще истин Нагорной проповеди? Он обращался к каким-то структурам, которые упорядочивали его эмоциональный опыт. Здесь это упорядочивание пафоса происходит через созерцание звездного неба. То, о чем потом скажет Кант: «Есть моральный закон внутри нас и звездное небо над головой». И вот ты совершаешь это филологическое усилие, находишь эти связи и понимаешь какие-то базовые вещи, которые, пожалуй, и делают нас людьми. Мне нравится жить среди этих людей – это не только мои современники, но тот же Арат, Пушкин или Чехов. Я от этого не становлюсь таким же, как они, но это сближает меня с теми воображаемыми ценностями, которые, как мы знаем, часто оказываются важнее ценностей реальных.

Так что я бы не хоронил филологию. Хотя сегодня ощущение такое, что многие готовы на это решиться. Недаром же в университетах слово «филология» вытесняется всевозможными «коммуникациями», «информациями» и пр. А ведь мы знаем, что новая

номинация часто возникает там, где не хочется обсуждать реальные проблемы. Проще переименовать.

– Да. И много разговоров о том, как уныло мы выглядим на фоне западной науки.

– Боюсь, что разговоры эти небезосновательны. Настоящая филология – это кропотливая работа. А сегодня все делается методом «веселого нахрапа»: здесь разузнать, там додумать. Я учился в университете и начинал работать в советское время. Парадоксальная ситуация. В обществе тогда было плохо, а в филологии хорошо. Понятно, это был чистой воды эскапизм. Самые ценные достижения сформировались в рамках самых «кропотливых» направлений, как та же практика перевода. Там, где нужна была незаурядная усидчивость и работоспособность. Огромное количество таких специалистов со временем уехало на Запад. При этом я не говорю, что на Западе все идеально, там своя специфика. Да, там лучше языковая подготовка, но преподаватель там вытанцовывает перед студентами, иначе не скажешь. Потому что знание – это товар, который студент захочет или не захочет купить.

– Вы с результатами метода «веселого нахрапа» сталкиваетесь часто?

– Читаешь иногда невероятные вещи.

Я писал одну статью о восторге, о том, как это понятие концептуализировалось в публицистике XIX и XX веков. Я просто не верил глазам, когда читал работы из области этнолингвистики или лингвокультурологии, где восторг русский описывается как совершенно особенный восторг, отличный от прочих других восторгов. «Наш восторг – это не их восторг!» И лексема особая, и семантика особая. Получается, когда мы говорим о русскости, мы всегда говорим об особенном. И беда в том, что особенность наделяется ценностными характеристиками. Японцы едят сырую рыбу, а мы жареное мясо. Это данность. А ужас начинается тогда, когда мы начинаем говорить, что есть жареное мясо лучше, чем сырую рыбу. Когда я работал в Германии, коллеги-соотечественники постоянно задавали мне вопрос: «Ты там со скуки еще не умер?» Ну, если речь идет об отсутствии куража в ожидании того, что вечером в темном переулке тебе дадут по голове кирпичом, то да, было скучно. Это понятно, спокойствие заурядно, а у нас принято искать чего-то незаурядного и особенного.

– В лингвокультурологию, кажется, вообще встроена эта презумпция, что исследуемый объект обязательно будет отличным.

Конечно, это пресуппозиция лингвокуль-

турологии. Роковую роль здесь сыграла Анна Вежбицкая, замечательный польский лингвист. Она первая начала писать о концептах как о чем-то исключительно культуроспецифичном и безэквивалентном. Это странно, потому что филолог все же должен сравнивать не слова, а контексты. То, что в одном языке якобы не находит словарного эквивалента, так или иначе может быть встроено в контекст, который абсолютно аналогичен контексту из другого языка. Мне кажется, нелепо утверждать, что русская *судьба* никак вообще не соотносится с английским *destiny* или *fate*. Да, они не тождественны. Но если мы хотим сказать *судьба человека* по-английски, мы это сделаем. Просто это будет *life of man*. По значению ровно то же самое.

Все рассуждения о неких безэквивалентных и незабываемых константах культуры ненаучны. То, что они ненаучны, доказать очень легко. В риторике и логике есть такое понятие, как «предвосхищение основания». Ну, знаете, когда по названию можно понять о работе все.

– Название работы «Гоголь как ироничный писатель» и вывод «Гоголь – очень ироничный писатель»?

Именно это, да. Так не пойдет, потому что на выходе должна быть информация, которая хотя бы каким-то образом отличает,

дополняет или конкретизирует вопрос. А если я читаю название работы «Концепт *душа* в русской языковой картине мира», я уже точно знаю, что душа в русской языковой картине мира всем душам душа. Но самый большой парадокс в том, что люди, которые любят рассуждать о концептах, константах и языковой картине мира, как правило, языков иностранных вовсе и не знают. Все открытия «из глубин духа». Сейчас в качестве эксперта разных фондов я сталкиваюсь с большим количеством подобных студенческих заявок. Концепт – это страшный механизм индоктринации, он убивает у студентов всякое критическое мышление. Скажем, в информационное пространство попадает тема «поиска скреп», не успеешь глазом моргнуть – уже целый выводок работ на эту тему. Это не только языка науки касается. Посмотрите вокруг и скажите, с каких пор слова *толерантный* или *либеральный* стали ругательными?

– И раз мы в игре, внутри информационного общества, мы обречены воспроизводить стереотипы. Филолог становится кем-то вроде хранителя здравого смысла?

– Да, он обязан время от времени отворачиваться от информационного шума, проводить своего рода ревизию. Смотрите, даже филологические проблемы,

которые маркируются такими далекими от повседневной жизни словами, как *семиотика* или *семантика*, могут быть заземлены и направлены на решение каких-то конкретных проблем. Внимание к деталям, смещение акцентов всегда открывают новые горизонты. Возьмем историю страны. Если говорить об Иване Грозном, Петре I и Сталине – это одна история России. А если говорить о Екатерине II, Александре II и Хрущеве, то совсем другая история. То же самое с историей науки или литературы.

Cultural history – это направление исследований, популярное на Западе. Такие исследования позволяют, скажем, увидеть разницу между историей идей, институциональной историей науки и культурной историей науки. Там возможны такие покушения на стереотипы, к которым не все готовы. Я выступал с лекцией о Кулибине как культурном герое в Нижнем Новгороде, на его родине. Я догадывался, что ехать в Нижний и говорить что-то новое о Кулибине значит рисковать. Все так, прочитал я доклад, и на другой день какой-то доброхот написал донос губернатору, мол, в студенческой аудитории случился акт попраения роли культурного героя. Не подумайте ничего такого, я просто пытался взглянуть на культурного героя поверх тех стереотипов, которые относительно него существуют.

Нещадно мифологизировали Кулибина уже первые мемуаристы. Они создавали

обобщенный образ гения, выходца из простого народа, удостоившегося высочайшего внимания власть имущих. В этом контексте достижения Кулибина принадлежат не только ему, но и его покровителям – Екатерине II, Орлову, Потемкину, Павлу I, Александру I. Сладкая интерпретация образа Кулибина отлично вписывается в уваровскую триаду «Православие, Самодержавие, Народность». Кулибин как бы персонифицирует креативную силу самодержавия. Со временем к кулибинскому мифу присоединились размышления о трагической судьбе русского механика, чьи новаторские открытия несправедливо игнорировали власть имущие. Все эти истории о кознях со стороны властей и ученых завистниках-иностранцах очень живучи, они прокрались, например, во многие книги Владимира Мединского.

Я уже не говорю о многочисленных образцах псевдоисторической литературы, где вы легко обнаружите, что Кулибин изобрел все вообще, вплоть до велосипеда. И где-то далеко за всем этим маячит фигура реального, исторического Ивана Петровича Кулибина, нижегородского старообрядца, ставшего механиком Петербургской академии наук.

Простой русский человек, который добился многого, не учась ни в каких академиях, – этот стереотип с успехом дожил и до нашего времени, вы его услышите и в сегодняшних разговорах об Академии наук, от которой по-прежнему ждут таких кулибиных, которые не изучают систематически всякие скучные вещи, а доходят до всего своим умом. Ну, знаете, «учебник русских только ломает». Что ж, очень удобный стереотип.

